

А. А. Потебня

СИМВОЛЫ И МИФ.
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 80
ББК 81
П64

Автор:

Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891) — известный русский лингвист и философ, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

Потебня, А. А.

П64 Символы и миф. Избранные работы / А. А. Потебня. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 301 с. — Серия : Антология мысли.

ISBN 978-5-9916-9485-8

Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891), подобно большинству отечественных мыслителей прошлого века, оставил глубокий след в разных областях научного знания: лингвистике, мифологии, фольклористике, литературоведении, искусствоведении, причем все проблемы, которыми он занимался, приобретали философское звучание. Настоящее издание содержит работы Потебни, посвященные философским проблемам символа и мифа.

УДК 80
ББК 81



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-9916-9485-8

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

ОТ СЛОВА К СИМВОЛУ И МИФУ

О некоторых символах в славянской народной поэзии	7
О мифическом значении некоторых обрядов и поверий	
I. Рождественские обряды.....	101
О связи некоторых представлений в языке	166
О доле и сродных с нею существах	194
К статье А. Н. Афанасьева «Для археологии русского быта»	239
О купальских огнях и сродных с ними представлениях.....	252
Переправа через воду как представление брака	275
Список источников, цитируемых А. А. Потебней	288
Список сокращений, используемых в трудах А. А. Потебни	301

ОТ СЛОВА К СИМВОЛУ И МИФУ

О НЕКОТОРЫХ СИМВОЛАХ В СЛАВЯНСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

Слово выражает не все содержание понятия, а один из признаков, именно тот, который представляется народному воззрению важнейшим. Приняв за данное известное число корней, равное числу основных представлений в известной семье языков, мы можем предположить, что ход лексического развития состоит приблизительно в следующем. Новые понятия, входя в мысль и язык народа, обозначались звуками, уже прежде имевшими смысл, и основанием при этом служило единство основных признаков в новых и прежде известных понятиях. Так как в природе нет полного сходства, то известный признак в каждом новом слове получал особенные оттенки, независимые от вносимых суффиксом, и звук, сживаясь с новым понятием, тоже изменял первоначальное значение. Новые слова роднились уже со словами не первичного, а позднейшего образования и, в свою очередь, удалялись от первого значения признака. Так вместе с лексическим ростом языка затемнялось первоначальное впечатление, выраженное словом, подобно тому как теряли и теряют смысл грамматические формы по мере удаления от времени полного своего развития. Но жизнь языка состоит не в одной только утрате изобразительности и грамматической стройности: язык в настоящем своем виде есть столько же произведение разрушающей, сколько и воссозидающей силы. Соответственно замене обветшавших звуков и форм новыми собственным смысл слова поддерживается в памяти народной сопоставлением этого слова с другим, имеющим сходное с ним основное значение. Отсюда постоянные эпитеты и другие тавтологические выражения, например, *белый свет, ясный-красный, косу чесать, думать-гадать*. Та же потребность восстанавливать забываемое собственное значение слов была одною из причин образования символов. Близость основных признаков, которая видна в постоянных тождесловных выражениях, была и между

названиями символа и обозначаемого предмета. Калина стала символом девицы потому же, почему девица названа *красною*, по единству основного представления огня — света в словах: *девица, красный, калина*. На основании связи символов с другими эпическими выражениями можно бы называть символами и те предметы и действия, которые, изображая другие предметы и действия, несколько при этом не одухотворяются. Зная, например, что гниение обозначается в языке огнем, можно бы огонь назвать символом гниения.

По мере [того], как забывается упомянутое соответствие между значением корней слов объясняемых и объясняющих, ослабляется и связь между ними: постоянные эпитеты и проч. переходят к словам, которые означают то же понятие, но по другому признаку. Так, в выражении «черные грязи» прилагательное не имеет ничего общего с корнем *гряз* — *грѣз*, по которому было бы приличнее назвать грязи топучими, что и встречаем в произведениях народной поэзии; «черный» перешло, вероятно, к слову «грязь» от другого слова, например, от слова *кал*, выражающего впечатление черного цвета.

В тех способах выражать символ, какие застаем в народной поэзии, видно то же стремление к потере изобразительности слова и связи поэзии с языком. Простые формы сменяются сложными, но не заменяются ими вполне. Главных отношений символа к определенному три: сравнение, противоположение и отношение причинное.

а) Сравнение выражается в народной поэзии или так, что символ вполне соответствует своему предмету, или так, что между тем и другим полагается некоторое различие. В полном сравнении символ является то приложением (*конь-сокол*), то обстоятельством в творит. пад. (*зегзицею кычетъ*), то развитым предложением. В последнем случае сравниваемое может подразумеваться или быть развито до такой степени, как и символ. Примером первого может служить песня Краледворской рукописи : «Ach ty róže, krasna róže. Čemu si rano rozkwetla, rozkwetawši pomrzla, pomrzawši uswědla, uswědewši opadla?» — и вслед за тем слова девицы, которая сравнивается с розой; примером второго — двустиише: «Грушице моя! чом ти не зеленая? Милая моя! чом ти не веселая?» — в котором каждому слову первой половины соответствует слово второй.

Символ как приложение сливается с обозначаемым в одно целое, а творительный падеж напоминает превращения: то и другое может быть отнесено к тому времени, когда человек не отделял себя от внешней природы. Сравнительно позже появился параллелизм выражения: он указывает на затемнение смысла символов, потому что если эти последние понятны, то и объяснять их незачем. Еще более поздним кажется выражение символа в виде полного или сокращенного придаточного предложения с сравнительным союзом (например, в Краледворской рукописи: *jako zora, jako luna*): присутствие союза доказывает, что между сравниваемыми предметами ставится большое различие, и напоминает приемы искусственного языка.

Форм отрицательного сравнения тоже несколько. В сербских песнях довольно часто употребляется такой оборот: предпосылается символ в виде положения или вопроса и вслед за тем отрицается, а на место его ставится обозначаемый предмет, например: «Надви се облак изнад дјевојак'; То не био облак изнад дјевојак', Већ добар јунак тражи дјевојак'» [50, т. 1, с. 2]; «Шта се сјаји кроз гору зелену? Да л'је сунце, да л'је јасан месец? Нит'је сунце, нити јасан месец, Већ зет шури на војводство дође» [Там же, с. 13]. Сербские, а особенно великорусские песни опускают сравнение положительное и начинают с отрицания: «не ...а». Без сомнения, такое сравнение с отрицанием предполагает положительное, а потому новее последнего .

б) Противоположение символа предмету не чуждо влр. песням, но, если не ошибаюсь, чаще встречается в малорусских. Обыкновенная форма такая же, как и в развитом положительном сравнении, и отношение сопоставленных предложений при отсутствии союза может быть легко принято за сравнительное, как, например, в следующих местах: «Над горою високою голуби літают: я роскоши не зазнала, а літа минают» [78, с. 59]. «Ой гиля, гиля, сизі голубоньки на високе літання: Та уже важко, мое серденько, та с тобою горювання» [78, с. 102]. «Ой з-за гори из-за кручі орли вилітают: Не зазнаю я роскоши, — вже й літа минают» [78, с. 106]. Высокое летанье птиц имеет смысл ничем не стесняемой свободы; чеш. *bižeti*, пол. *bijać*, рус. *ширять*, *парить* значат не только высоко, но и привольно летать. Такому ширянью противопоставляется горе, стесненное положение человека, отсутст-

вие роскоши, то есть раздолья, свободы, что, разумеется, предполагает сравнение счастливого человека с высоко летающей птицею . И этот прием позже сравнения. Кроме сложности формы, можно думать так и потому, что в противоположении таится мысль о равнодушии природы к страданиям человека, о разладе последнего с действительностью, мысль естественная в устах современного нам поэта, но слишком печальная для первобытной эпической поэзии.

с) Причинное отношение тоже рождается из сравнения. Так, во многих народных медицинских средствах можно распознать символы выздоровления или болезни: пораженное сибирской язвой место очерчивают выпавшим из сухой сосны сучком, чтобы уроки, призоры и проч. поотсыхали, как сучья и коренья у сухой сосны [37, с. 53]; рожу лечат высеканьем огня и прикладыванием красного сукна на больное место, потому что рожа сближается в языке с огнем и красным цветом. Вообще символизм доживает свой век в подобных сложных формах; он долго живет в приметах, симпатических леченьях и других предрассудках после того, как исчезнет в вышших формах народной поэзии .

Так как символизм есть остаток незапамятной старины, то встретить его можно преимущественно там, где медленнее происходит отделение мысли от языка, куда медленнее проникает новое. Как ни стары иные былины, песни юнацкие, все же они, с немногими исключениями, всем своим содержанием относятся ко временам историческим. Жизнь, в них изображенная, есть жизнь столкновения и борьбы народов, жизнь прогресса, быстро приводящая в забвение старину и воссоздающая ее в новых формах. Вообще мысль мужчины шире, подвижнее, изменчивее в силу новых входящих в нее стихий, чем мысль женщины, заключенной в кругу медленно изменяющегося домашнего быта, более близкой к природе и неподвижному разнообразию ее явлений. Женщина — преимущественно хранительница обрядов и поверий давно застывшего и уже непонятного язычества. Оттого связь с языком и символизм, характеризующие женские песни, встречаются в мужских в гораздо меньшей степени. Символизм находится в обратном отношении к силе посторонних влияний, а потому он необходимее и яснее у русских и сербов, чем в песнях чехов, лужичан, хорутан, поляков. Эстетическое достоинство произведений народной

поэзии падает вместе с символизмом и от тех же причин, между прочим, от уменьшения числа людей, для коих язык и произведения народной словесности — главные средства развития. Правда, превосходные сербские исторические песни и некоторые малороссийские думы доказывают, что и при отсутствии символов возможны высокие народные произведения, если между классами народа нет резкого различия и если вся масса народа достигнет известной степени воодушевления; но воодушевление проходит, масса народа разъединяется, и снова начинается процесс падения народной словесности.

В настоящее время многие малороссийские песни, еще прекрасные по частностям, не представляют никакого внутреннего единства. Они, очевидно, механически сшиты из отдельных двестиш и четверостиш, которые встречаются в других песнях, поются и сами по себе. Одни из этих коротких песенок — параллельные выражения с правильно употребленным символом; в других символ поставлен случайно, по привычке; в третьих опущен символ или его объяснение, которое теперь было бы вовсе не лишним. Польские краковяки, кажется, были прежде параллельными выражениями, как малорусские «уличные» и «коломыйки», но теперь представляют гораздо большую степень разложения, чем эти последние. Некоторые из них — набор слов, утративший всякий смысл: «Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, A na tym kamieniu jeszcze jeden kamień».

Приводя в порядок немногие собранные мною материалы, я старался не упускать из виду [связи] символики с языком и располагал символы по единству основного представления, заключенного в их названиях. В частных случаях я мог ошибаться, но верно то, что только с точки зрения языка можно привести символы в порядок, согласный с воззрениями народа, а не с произволом пишущего.

ОГОНЬ. СВЕТ. Если б мы не знали, что божества огня и света занимали важное место в языческих верованиях славян, то могли бы убедиться в этом из обилия слов, имеющих в основании представления огня и света.

Как душа и жизнь, так и частные проявления жизни: голод, жажда, желание, любовь, печаль, радость, гнев — представлялись народу и изображались в языке огнем. Слова, первоначально применяемые к нескольким

понятиям, например, и к желанию, и к печали, с течением времени становятся определеннее, начинают обозначать одно известное понятие. Диссимилирующая сила языка действует при этом по правилам, часто совершенно для нас непонятным. Примером этого, как кажется, произвольного разграничения тождественных по основному признаку слов могут служить названия пищи и питья, голода и жажды. Что пища и питье роднятся между собою в языке, видно из следующего: слово *пища* происходит от *пи-ти* с суффиксом, ставшим согласною корня. От предполагаемой формы *питити* — млр. *питимий*, кормящий: млр. «питимая матінка» можно буквально перевести «кормилица матушка». Суффикс *-имый* имеет здесь действительное значение, как в *родимый*. От *соути*, лить, происходят: *сытый*, накормленный, отличаемое обыкновенно от *пьяный* и сопоставляемое с сим последним, и *сыта* (медовая), слово, означающее собственно жидкость и по таким же неизвестным причинам отнесенное к меду, как слова *квас* (ср. *киснуть*, мокнуть, серб. *киша*, дождь) и *пиво* к своим понятиям. В одной лужицкой песне, наоборот, вода названа съестною: «*Pósćel jeho po wodu, po tu wodu jadomni*» [151, т. 1, с. 145]. Сродство голода и жажды видно в нескольких словах. Ст.-сл. *жльдънъ*, тождественное по корню с рус. *голоден*, в серб. *жудан* получает значение жажущего. *Смага*, близкое к *смажить*, жарить, значит в Смоленской губ. жажда, а в Псковской — позыв на пищу. Пол. *pragnąć, pragnienie*, жажда, стар. рус. *пращу*, жажду [1], образовалось от значения пол. *prażyć*, млр. *пращи* (где *я* указывает, может быть, на старинное *А*), жарить. Самое *жажда* (корень *жлд*) может быть сродно с корнем *жег*. То же подтверждают выражения: «Есть хочется, а пить — как душу *выжгло*» [21]; «Ты бѣ жаждущимъ утробъ *охлаждение*» (Иларион. О законе и благодати [16]); «гладомъ *таати*» [92]. *Таять*, кроме обыкновенного значения, имеет и теперь еще на Севере другое, гореть; совершенно так, как *топить*: «затаяли свещу воску ярово» [46, с. 414]; отсюда млр. *потала* (в выражении «звірю на поталу») — пожранье, жертва. Как *жрать*, есть, — одного корня с *гореть*, так пол. *rożuć*, есть, по связи жизни с огнем может в основном иметь представление огня, который, по пословице, хуже вора, потому что «вор ворует, хоть стены оставит, а пожар все *пожирает*» [21]. Некоторые слова, означающие желание, прямо примыкают к понятию голода и жажды, а через них к горящему внутри человека огню. Таковы

ст.-сл. *жадати*, пол. *żądać, pragnąć*, желать. Другие не имеют видимой связи с голодом и жаждою, но относятся к огню.

Желать сродно с *жалить, жалеть* и *гореть*, о чем память сохранилась в пословице: «Ярко желают, да руки поджигают» [21]. Млр. и влр. *бажать*, сильно желать, имеет при себе млр. *багатья*, горячие угли, жар. Даже *гореть* могло принимать значение желать, как можно заключить из следующего. В млр. девичьей игре «в горю-дуба» (или «в горю-пня», псков. *огарыши*, горелки) девушка, ставшая гореть, говорит: «Горю, горю дуб (или пень)». Одна из двух, ставших против нее, спрашивает: «Чого ж ти гориш?» — «Красної панни!» — «Якої?» — «Тебе молоді» и проч., затем те две бегут, а горевшая ловит [72, т. 3, с. 95]. Родительный падеж при *гореть* показывает, что этот глагол значит здесь не ловить — бегать, как можно думать по связи огня и быстроты, а скорее желать, любить. Любовь есть желание, почему псков. *жаланный* — любезный, *желанный* — любезный, милый (орлов., тул.), ласковый, добрый (москов., олонец.); твер. *жадный*, милый; во многих сев. губ. *бажонный*, миленький. Костром., олонец., тамбов. *бажат-ка* — крестный отец, крестная мать, может быть, потому, что излюблены, выбраны, в противоположность родным. Связь любви с огнем выводится и из сближения красоты с огнем, о чем — ниже. В названиях печали я не заметил доказательств связи этого чувства с жаждою — голодом; связь с огнем — ясна. *Печаль* от *печь*, слово не употребительное в млр., взамен чего млр. *журба* имеет постоянный эпитет *пекуча*. *Журба*, слово близкое по форме к чеш. *žřiti*, свирепеть, одного корня с *горети-жрѣти*: у есть усиление глухого звука (ср. *муравей-мѣравій*). *Жаль-горе* тоже однородны с *гореть*, равно как обл. *на-зола*, грусть, близкое к *зола* (ср. *пепел* — удвоенная форма от *плати*, но и без предлога *по* — все-таки продукт горения), *зол*, имеющему другую форму *горший*. *Скорбь* имеет при себе *заскорбнуть*, засохнуть, *скорблый*, сухой. *Сухота* (москов. и млр.), забота, печаль от *сух*, откуда довольно редкий млр. глагол *сушувать*, горевать [45, с. 357] и обыкновенное млр. *сушитъ* — *вялить* (о горе). Как в языке, так и в народной поэзии понятия желания, любви, печали сродны между собою, потому что выражаются в одних и тех же образах внутреннего и внешнего огня. Как слово *утолить*, например, голод, жажду, имеет в основании понятие огня (*тлеть*, об огне), хотя выражает его утишение, *усмирение*,

так питье и еда, умиряющие жажду и голод, служат символами упомянутых сродных с огнем чувств.

а) ПИТЬЕ. Пить воду — значит желать, стремиться, как можно догадываться из следующего: «Край тихого броду *пье* сивий кінь воду; *просилася* мила та до свого роду» [78, с. 244]. Конь пьет от жажды, как просьба — следствие желания; «край броду», потому что брод — средство сообщения разделенных рекою. Более примеров можем представить для питья в значении любви. Вода — девица, женщина (см. ниже); хотеть пить — жаждать любви: «Жедно момче гором їздијаше, *Жедно* воде, а *желно* ђевојке» [50, т. 1, с. 416]. «Шо утата-лебедята летять до криниці. Прилетіли до криниці, не пили водици; та йшов козак до дівчини, зайшов до вдовиці» [78, с. 53], то есть как утки-лебеди прилетели к воде, да не пили ее, так козак разлюбил девицу, потому что шел к ней, да не зашел. Менее выдержано сближение в следующем: «Чи се тая криниченька, що голубка пила? Чи се тая *дівчинонька*, що мене *любила*?» ([78, с. 63], ср. [78, с. 72]). Замечательно следующее место, где питье — блуд: «Вопрос: сыне, пей воду от своих источник и от студенец, да не прольются своя воды. Толк: не сотвори блуда с чужою женою, да твоя жена с чужими не соблудит» [23, прилож.]. Сербское *љубити*, целовать, тоже сближается с питьем; например, в песенке помочанам (*моби*, то есть *мольбе*, прошенным): «На крај, на крај, моја силна мобо, На крају је вода и девојка, Вода ладна, а девојка млада: Воду *пијте*, девојку *љубите*» [50, т. 1, с. 169]; «Ја се *напих* жубер-воде, Намири-сах жуте дуње, а *наљубих* младе моме» [Там же, с. 362]. Как *любоваться*, смотреть с наслаждением, относится к любить, так млр. *дивиться*, в смысле любоваться, — к символу любви питью: «Добри вечір, удівонько! дай води *напиться*! Хорошую дочку маєшь, хоч дай *подивиться*!»; «Стоить вода на відничку, так ти и *напийся*; Сидить дочка в віконечка, так ти й *подивися*!». Символ известного явления может, как сказано выше, быть средством произвести это явление или его причиною. Пить воду значит и любить и быть любимым; *напиться* воды представляется средством внушить к себе любовь: «Чи я, мати, не хоріш, чи я, парень, не доріс? Чому мене, моя мати, дівчата не люблять?— Піди, синку, до криниці, напийся водиці: Будуть тебе дівки любити ище й молодиці».

Пить вино — тоже любить: «Лепо ме је сетовала мајка, Да не *пијем* црвенога *вина*, Да не носим зеленого венца, Да

не *любим* тушина *јунака*» [50, т. 1, с. 334, 335]; «Ил'ху *пити* *кондир* вина? Ил'ху *любиш* младу мому» [Там же, с. 331]. Когда сближается со вдовою, а вино с девицей, потому что последняя весела, а первая печальна [Там же, с. 228]. Пити — женить: «Не ху брата *женит'* *удовицом*, Ниг' ху брата *појити* *водицом*... Већ ху брата *женити* *дјевојком*, И *појити* *вином* руменијем: Од вина јелице *руменије*, У дјевојке срце веселије» [Там же, с. 229]. Отсюда питье — свадебный пир, то есть пир по преимуществу: серб. *пир* — свадьба, *пирник* — свадебный гость, *пировати се* — жениться и выходить замуж, *пировати* — пировать именно на свадьбе, а потом — вообще; у лужичан сербскому *пир* соответствует *kmas*, свадьба, собственно питье (ср. серб. *киша*, дождь: понятия питья и изливания совмещаются в одних и тех же корнях); в разных влр. губерниях *пропить* девку значит просватать, а в Белоруссии *запойны* — сговор.

Женитьба служит символом битвы и смерти, потому что и то, и другое, и третье — суд Божий, а может быть, и по другим причинам. В частности, пир — символ битвы, потому что, как кажется, не только свадебный и надгробный, но и всякий более-менее общественный пир сопровождался боями (кулачными?): областное (вологод., ярослав., тул.) *шибок*, пир вообще и тризна; последнее видно из пословицы: «По деде *шибок*, а по бабке *щипок*» [21]. Варить пиво и пить значит биться. В думе на Желтоводскую битву Хмельницкий говорит козакам: «Гей друзі молодці, братья козаки запорозці! Добре знайте, барзо гадайте, Из ляхами пиво варити замирайте. Лядський солод, козацка вода, Лядські дрова, козацьки труда» [71, с. 67]. В Первой новгородской летописи читаем следующий рассказ о переговорах Ярослава с преданным ему мужем из Святополчей дружины: «И бяше Ярославу мужъ въ пріязнь у Святополка, и посла къ нему Ярославъ ночью отрокъ свои, рекъ къ нему: «Онъ си! что ты тому велиши творити? Меду мало варено, а дружины много». И рече ему мужъ ть: «Рчи тако Ярославу, даче меду мало, а дружины много, да къ вечеру вдати». И разумѣ Ярославъ, яко въ ночь велить сѣцися» [83, с. 1]. Нет основания понимать это место в буквальном смысле, потому что решимость новгородцев перевезтись на тот берег Днепра была делом случайного обстоятельства, а не следствием недостатка в припасах; сравнивая же с предшествующим местом, мы видим, что *меду мало варено* значит: не было битвы (а стычки могли быть), а дать мед дружине прямо объяснено че-

рез «сѣчися». Пир — битва, а пьян значит мертв, как видно из известного места в «Слове о полку Игореве» и из народных песен: «Ту кровавого вина не доста; ту пирь (свадебный) докончаша храбрїи русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю русскую». Разбойники отвечают вдове убитого ими, которая узнает у них коней своего мужа: «Ой ми собі сїи кони ми их купили, Та на гнилий колоді гроші полічили, З холодної криниченьки могорич запили, Під гнилою колодою спати положили» (ср. [192, т. 2, с. 5]). В песне о Лемеривне: «Ой одчиняй, моя матинко, ворота! Я везу тобі невісточку пьяненьку... Ой упилась, моя матинко, од ножа, А заснула, моя матинко, крий коня» [78, с. 285—286]. Из сближения пира с битвою можно объяснить частое сближение слов *пить* и *бить*: «Нельзя, нельзя *воду пить*, нельзя почерпнути; Нельзя, нельзя *жену бить*, нельзя поучити» [37, с. 95]; «Не буду я *води пить*, вода луговая; Не буду я *жінки бить*, жінка молодая» [78]; «W potoczku za laskiem siwe konie piją; Niechodź tam, Janeczku, bo cię tam zabiją» [223, с. 149]; «A čije to studýnka, Co z ně koně pijo? Nechod' tam, synečku, At' tě tam nezabijo» [213, с. 262]. Впрочем, можно относить это к связи питья воды и печали, о чем — ниже. Вообще сродство пира, битвы и близких к ним понятий очень давне; оно выразилось в различных значениях теперь уже мало понятного слова *тризна*, надгробный пир. Слово это, кажется, значит собственно то же, что *пи-р*, и происходит от корня, означающего лить — пить, судя по близости его с *трьзвый*, серб. *трезан*, *тријезан*. Последнее по аналогии с *тощ* (см. ниже) должно значить пустой, порожний, тот, из которого вылит. Как пир — веселье¹, что видно из пол. *wesele*, млр. *веселья*, свадьба, так словац. *truzniti sia* — веселиться (ср. *тих*, *тѣх*, и корень *туш*). Как пол. *biesiada*, пир, рус. *беседа*, разговор, — от сиденья вместе; так чеш. *truzniti* — *tryzniti*, говорить, — от питья (и сиденья) вместе, без чего нету пира. Значенье чеш. *truznowati*, насмехаться, может быть введено из веселья и разговора и все-таки относится к питью: «Так мени добре помеж ворогами, Як тій криниченці помеж дорогами: Хто йде або йде — водиці *напьеться*! З мене молодой хто схоче, *сміється*» [78, с. 26]. В «Азбуковнике» [1], *тризна* — подвиг; у Памвы Берынды «*триз-*

¹ Ср. связь питья вина и веселья в известном: «Руси есть — веселие пити», коего значение объясняется чеш. «Pili, až se hory zelenaly» [195, т. 6, с. 59], то есть так весело пировали, что, сочувствуя им, горы покрывались зеленью. Связь зелени и веселья см. ниже.

никъ, шырмѣрь, або тотъ, що на игриску есть; *тризнице*, мѣстце, гдѣ бывають поединки ... або куглярства» и проч. Чеш. *truzniti*, бить, мучить: все согласно с связью понятий пить и бить.

Питье воды в смысле печали противопоставляется питью веселящих напитков: «Пийте, люде, горілочку, а я *буду пити воду*; Тяжко жити на чужині а без мого роду!» [66, т. 2, с. 238—239]. Оно есть следствие представляемой жаждою печали, что ясно из следующих двух примеров: «A tom dole na dolině Čierný hawron wodu pije, Pije, *pije* w welkom žiali, Že má milú w cuzom kraji» [193, с. 72]; в сербской песне юнак приказывает привязать коня за копые на своем гробе, дать ему овса, но не дать воды, чтобы тужил за своим господином: «Зоби му дајте, Пити му не дајте, Нек ме жали доро» [50, т. 1, с. 394]. «Ой піду я до кирниці *пити воду* з дненьця; Ой без ножа, без талірки *не край моего сердца*» [78, с. 12]. «Ой на морі та на камені *Пило воду* та два соколи, Напившись, говорили: «Летім, братця, на заручини! Там Маруся *заручається*, От батенька *одлучається*, До свекорка *прилучається*» [78, с. 127], то есть невеста разлучается с отцом, следовательно, горюет. Питье воды — слезы как следствие печали: «Ku potoku wartko ide; Czarny gawron *wodę pije*, Pije, pije, robrakuje; Moja miła popłakuje» [223, с. 171]; карканье ворона только усиливает значение другого символа, потому что оно, как известно, предвещает, следовательно, изображает печаль. «Leciały gołębie, w stawie *wode piły*; Bodaj cię, chłopczyno, *moje łzy zabiły*» [Там же, с. 64]. Слезы убивают, потому что тяжелы: «A Iwasio-wy sliozy marne ne propały: Na kamiń bilyj spadały, kamiń rozbywały» [192, т. 2, с. 26]; «Z velikeho žalu sluzenky kapa-ju, Na tvrđem kameni jamky vybijaju» [213, с. 254—255]².

б)ЕДА. Если признаем отношение питья — любви к огню, то можем туда же отнести и принимаемую в таком смысле еду, потому и здесь питье и еда сопоставля-

² Тяжелы они потому, что труд роднится с горем и болезнью. Понятия тяжести, работы, болезни и горя совмещаются в слове *труд* (если примем однородность слов *трудъ* и *трѣждъ*): *труд* — беремя, откуда серб. *трудна* жена — беременная; областное *трудный*, больной (в песнях тождесловное выражение «труден — болен»); стар. рус. *трудный* — печальный: «Начяти трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ». Как болг. *мука* — труд, серб. *мука* — дело, *замучити се* — потрудиться (например, прийти), а болг. *печеля* от заботы (и труда) переходит к барышу и приобретению: «спечелил много иманье» [15, с. 88]; так *страдать*, в смысле болезни и муки, имеет при себе обл. *страда*, рабочая пора и тяжелая работа, стар. рус. *страдати*, работать, трудиться, у Памвы Берында *страданіе* — «терпленье». Отсюда тяжелая работа — символ всего прискорбного, неприятного: «Ой як мені важко сей камінь котити, То так мини

ются: «*Pila bych, jedla bych, chleba se mně nechce, Než toho synečka, co je v Novém Městě*» [213, с. 214]. Отсюда видно, что хлеб — мужчина; но и женские и мужские названия хлеба — символы женщины: «Теперь нарядили, як сами схотіли: *З книша паляницю, з дівки молодицю*» [78, с. 210], как поют, надевая на молодую «намитку». Мысль, что всякому предопределено, кого любить, выражается поэтому так: «Суженое ество да ряженому ести». Наоборот, Дунай на ласки Афросиньи Королевишны, которую сватал за князя Владимира и считал для себя неприкосновенною, отвечает: «А и ряженой кус, да не суженому!» [42, с. 35]. То же значение имеет *пастись*. В свадебной сербской песне поется: «Бре не дај, не дај, девојко! Јелен ти у двор ушета, Босиљак бел ти попасе.— Нека га, друге, нека га: За њега сам га сејала» [50, т. 2, с. 12]. *Трава*, от *трути*, есть, символ девицы — женщины; есть траву — любить: «Попід мостом трава з ростом, що й кінь напасеться; Не бачила миленького, не зрадила серця. Хоть бачила — не бачила, не навтішалася: Я ж на тебе, мій миленькій, не сподивалася» [78, с. 52]. Между первыми двумя стихами противоположение: любовь не встречает препятствий со стороны девицы, а между тем она не виделась с милым, не утешила своего сердца.

ГОРЕЧЬ. Постоянный эпитет горя — *горькое*. Слово *горький* согласно со своим происхождением значило в старину огненный (например, *горький змий*), горячий, как и современное чеш. *borký*, и получило значение горького, едкого вкуса, потому что огонь жрет. Мы вправе принимать эпитет горя не только в смысле горючего, но и горького. *Желчь*, слово однородное с *зеленый*, *золото* и *гореть*, названное, может быть, по цвету, имеет, по Вацераду (*slich*), кроме *fel*, *irascundia*, еще значение *virus*, яд, которое могло образоваться только через понятие жрать, есть, подобно тому, как *отрава*, *отрута* — от *тру-ти*, *яд* — от значения есть. Действие яда изображается так: «Канула капля

важко за Иваном жити» [78, с. 115, 81, 259]; «Лучше ж міні, моя мати, круту гору роскопати, А ніж міні нелюбого соколоньком називати» [78, с. 259, 260]; «A lepiěj to lepiěj góry lasy kopać, Nižli się Jasiieńku, w twojem sercu kochać. Góry lasy skopię, jestem sobie wolna, W tobie się zakochać — nigdy nie spokojna» [163, с. 3]. Печаль сама по себе — тяжела: «Da su moje tuge, Kak su tuge druge. Ali moje tuge Jesu jako (сильно, очень) težke: Kad bi samo male Na kamen spadale, Kamen bi razbile Na makovo sime» [162, т. 3, с. 46]; «Ты не гнись-ко, половочка, не ложись переводинка: Что не я тяжела иду, тяжело горе кручина» [118, т. 2, с. 248].

коню на гриву, у коня грива загорелася» [104, т. 1, кн. 3, с. 202]. С этим согласно, что от *трути* — *тру-тъ*, серб. *труд*, губка, собственно пожираемое огнем, и что *ядно* значит, по «Азбуковнику», жжение. Серб. *jad*, горе, выражает вместе пожирающее действие огня и печаль. От такого представления *съестся* — погибнуть (от печали): «Уж как съелся я, добрый молодец, погубился» [38, с. 171]. В силу своего эпитета горе имеет символом некоторые горькие растения. *Полынь*, от одного корня с *пламя*, *палить*, *полено*, *пепел*, своим названием подтверждает связь горечи и огня. Она вырастает из посеянного горя: «Я рассею мое горе по всему по чисту полю. Уродися, мое горе, ты травую полыньєю. Какова трава полынь горька, таково-то мое горе сладко» [104, т. 1, кн. 3, с. 149]; «Ја босиљак сејем, мени пелен ниче» [50, т. 1, с. 439]. Есть полынь — символ тяжелого, неприятного дела: «Лучше ж мени, сестро, гіркий полинь істи, А ніж мені, сестро, сиротину из ума звести» ([78, с. 81], ср. [78, с. 259, 261]). Такое же значение имеет в сербских песнях *чемерика*, *чемерица*, *чемерка* (откуда синонимические глаголы в серб. *јадиковати* — *чемериковати*), а в русских — «горькая осина». На девичнике невеста, прощаясь с матерью, причитает, что если на месте прощанья вырастет яблоня, то житье ей замужем будет хорошее, если береза — среднее, а если осина, то житье будет последнее [118, т. 2, с. 200]. По сходству чувственных впечатлений горького и соленого соль — тоже печаль, так что *насолить* — наделать беды, «солону» пришлось — тяжело, горько, а просыпать соль — знак, что горе будет. Оттого слеза как признак и следствие горя *горька*, *горюча*, *солона*: «Горевая слеза горька и солона». Самое *рыдать*, в смысле плакать, предполагает значение: плакать горько или от горя: *рыдать* — усиленная форма того корня, что в ст.-сл. *ръдѣти*, краснеть (и гореть?), а потому сближается с огнем и светом. Архангел. *спорыдать*, о солнце: показываться, появляться, соответствует теперешнему значению слова *рдеть*, а следующее выражение подтверждает предполагаемое нами: «берестечко (береста) так и зарыдало», то есть вспыхнуло [7, т. 3, с. 69]. Пензен. *хмылить*, плакать, хныкать, а *хмыль* (пензен., москов.) — полымя, *хмылать* (москов.) — жарко гореть, полыхать.

СЛАДОСТЬ. Сладкий вкус и по символическому значению противоположен горькому. Согласно с белорусской пословицей, «што красна, то харашо, што солодка, то смачна», лужиц. *slodźić* — быть вкусным: «Wjasy jich je, a lje-

ре слодži» [151, т. 2, с. 203], то есть чем больше народу за столом, тем вкуснее естся, «в гурті и каша исться». Сладкое — любовь, счастье, потому что противопоставляется горю. В Галиции *солодкий* — милый; в тамошних песнях довольно часто: «Ој lubko ma solodeńka». В влр. свадебной песне сваха говорит: «Как чужая-то сторонущка сахаром изнасеяна, сытою поливана...». На это ей отвечает мать невесты: «Уж как чужая-то сторонущка горем вся изнасеяна, Она слезами поливана, печалью огорожена» [104, т. 1, кн. 3, с. 149].

Одного корня с *рдеть* и *рудой*, *рыжий* — слово *ржавчина*, пол. *rdza*, серб. *рђа*. Без сомнения, оно выражает представления света и красноватого цвета, но не выражает ли и огня? *Ржавчина* — печаль, и можно думать, что она пожирает железо, как печаль — человека: «Кто бы, кто бы из острой сабли *ржавец вытер?* Кто бы, кто бы из добра коня норов вывел? Кто бы, кто бы у добра молодца *печаль вызнал?*» [38, с. 170]. Отсюда, быть может, серб. *рђав*, несчастный, больной, дурной, бедный; проклятия: «*рђа те убила*», «пасја те *рђа* не убила» могут относиться и к горю и к болезни. Такое же значение имеет и болотная ржавчина: «Что не ржавчинка на болотичке зарождалась, Не кручинушка добра молодца издоляла: Издоляет-то добра молодца худа слава; С худой славы добрый молодец погибает» [38, с. 169].

ТАЯНЬЕ. Сообразно с указанною выше связью слов *таять* и *топить* с огнем таянье снега (а вероятно, и воска) имеет те же значения, какие голод и жажда. В выражениях, относящихся собственно к любви, можно видеть и желание: «А ти узми ону груду снежну, Па је метни у недарца до срца: Како копни она грудa снежна, 'Нако копни срце моје за тобом» ([50, т. 1, с. 403], ср. [Там же, с. 402]); «Упав сніжок на обліжок, та взявся водою; Пішов бы я до иншої — зазнався з тобою» [78, с. 50], то есть необходимо тает снег, подмытый водою (если только «взяться водою» не значит просто таять), так я не могу не любить тебя. Наоборот: снег не тает — сердце не любит, не пристаёт к другому: «Упав сніжок на обліжок, та вже не ростане; Пішов бы я до иншої, сердце не пристане» [78, с. 50], или: «Ой до стидкого та до бридкого серденько не пристане» [78, с. 67]. Таким же образом, как и любовь, выражена печаль: девица в разлуке с милым говорит: «Ой візьму я снігу в руку, сніг у руці тане; Тяжко — важко на серденьку, як вечор настане» [78, с. 16].

КОВАНЬЕ. Если *ковать* значит не только бить молотом, но и раскалять или, как говорилось исстари, «варить» (*вар* — жар) железо и вообще металл, то понятно следующее выражение, в котором девица сравнивает себя с золотом, а любовника, жениха — с кузнецом: «Злату ће се кујунџија наћи, И мени ће мој суђеник доћи» [50, т. 1, с. 376]. Не одного ли происхождения пол. *kochać*, чеш. *kochať* с серб. *кухати* — *кувати*, варить? Близость их по корню довольно вероятна. Раскаленное железо сближается с печальным сердцем: «То moje serdeczko takie rozżalone, Jako to żelazko w ogniu rozpalone» [223, с. 103].

ОГОНЬ. «Любовь, — говорит пословица, — не пожар, а загорится — не потушишь»; но из подобных неполных сравнений можно всегда почти заключить о существовании полных, то есть в настоящем случае, что любовь есть пожар. В млр. песне то же: «Ти не пожар, ти не пожар, а я не билина; Не зводь мене из рózума, бо я сиротина» [72, кн. 3, с. 96]. Обыкновенно в млр. песнях сближение слов *жарко* и *жалко*: «По тім боці огонь горить, по сім боці *жарко*; Як пойдеш з України, буде мені *жалко*» [78, с. 39]. *Жаль*, печаль, рифмуется с *жар*, горячие уголья: «Загрібай, мати, *жар, жар*, Чи не буде дочки *жаль, жаль*» [78, с. 227]; «Не курила, не топила, на припечку *жар, жар*. А як вийду из Івниці, комусь буде *жаль, жаль*» [78, с. 16]. Под любимыми рифмами кроется как здесь, так и в других случаях символ. («Не курила — не топила» — тавтологическое выражение, потому что *курить* — собственно жечь.) В влр. песнях приводятся в соответствие слова *жарко* (об огне) и *горько* (о плаче): «Уж как *жарко* во тереме *свечи горят*, горят свечи воску ярого; Уж как *горько* плачет свет-Аннушка, унимает ее родный батюшка» [104, т. 1, кн. 3, с. 143]; «Ня *гарька гариць* калинка, Ня *пылка пылиць* малинка; Ня *жалка плациць* Кацюша, Ня жаль ёй, ня жаль матушки» [3, с. 186]. Из этих примеров видно, что «свеча *горит*» значит болит, страдает; следовательно, понятно срб. выражение, употребляемое о свече, которая горела «на крсно име»: «Уђеши, обесели свијећу» вместо *угаси*. Влр. выражение «закратить свечу» (новгород.), «засмирить свечу» (костром., сибир.), вместо потушить свечу перед образом, указывают только на уважение к святому огню. И пожар — печаль: «Kołomyju zapalyły, Kołomyja horyt; Takoj mene za myłeńkom hołowońka bołyt. *Wyboriła* Kołomyja, łyszły sia ilmy; Oj lubko ma sołodeńka! to ż za tobow żył (жаль) му» [192, т. 2, с. 196].

ДЫМ. Подобное же значение имеют дым и пыль, сближаемые между собою и представляемые произведением огня. Пол. *kurz*, млр. *курява*, пыль, от *курить*, то есть гореть; *пыль*, млр. *пил*, относятся к *пла-нѣти*, пылать; *пра-х*, от *пра-ти*, бить [177], но не иначе, как при посредстве понятия огня, тем более что самое *пра-ти* может быть только древнейшею формою слова *пла-нѣти* и прямо от битья переходит к горенью. Как бы ни было, о сродстве слова *прах* с огнем говорят чеш. *prašivec*, огненный змий, *prašivý*, пол. *parszyw*, рус. *паршивый*. Парши (пол. *parczy*), как и некоторые другие сыпы, имеют отношение к огню. До сих пор известного рода прыщ на губах представляется наказанием за оскорбление святости огня, и дитяти говорят: «Не плюй на *огонь*, а то *огник* выскочит». Замечательное соответствие с переходом значения в словах *порох* и *парши* представляет пол. *swąd*, *swędzić*, угар, вонять гарью, и зуд, зудить³. Оба значения выводятся из понятия огня: пол. *wądzić*, коптить, откуда наше *ветчина*; ст.-сл. *с-ва(д)-нѣти*, сохнуть, рус. *вянуть*. Слова *коп-тить*, *копотъ* следует сравнить с серб. *копњети*, таять. Как пыль вообще, так и туман представлялся дымом от огня, и на этом основании и то и другое — символ печали. «Зеленая дібровонько! чом не гориш, та все курисься? Молодая дівчинонько! чого *плачешь* та все *журишся*? Колы б же я підпалена, то горіла б, не *курилася*; Ой коли б же дівка посватана, не *плакала б*, не *журилася*» . Из этого места видно также, что поджечь дуброву — посватать девицу, потому что сватовство предполагается следствием любви. Из одной веснянки можно догадываться, что такое сравнение поведено дальше и что гасить дуброву значит отказываться от замужества: «Галечка... Цебром воду носила, дібровоньку гасила» [78, с. 297]. Такая строгость должна восхвалиться в весенней песне, потому что весна — пора вражды между девицами и мужчинами.

ПЫЛЬ. Таким же образом пыль дороги — печаль. «Не жаль мені доріженьки, що *куриться курно*, А жаль мені дівчиноньки, що *журиться дурно*; Не жаль мені доріженьки, що *пилом припала*, А жаль мені дівчиноньки, що *з личенька спала*» [78, с. 22], то есть что похудела от печали.

³ Еще сближение чесанья и огня: *зуд*, *зудить*, чесаться, имеют при себе *зудить*, пить (архангел.), бить (онеж.). Последнее не от огня и питья, а по аналогии с *чесать*, которое значит и бить (ср. ст.-сл. *жадати*, жажда-ть). Можно бы и *свер-беть* сравнить со *свирати*, свистеть. Как ни странно сопоставление подобных значений, но слова для звука могут иметь в основании понятие света и огня.

Выше мы видели предполагаемое значение понятия гасить, если пожар представляется любовью — сватовством; но если огонь-пожар — печаль, то тушить его должно значить утешать, что и встречаем в применении к дороге: «*Приливайте доріженьку, щоб пилом не пала; Розважайте матусеньку, щоб з лица не спала. Приливали доріженьку, таки пилом пала; Розважали матусеньку, таки з лица спала*» [78, с. 22].

ПРИМЕЧАНИЕ. В Малороссии есть обычай, выпроводивши кого-нибудь из близких, пить за его счастье в дороге, что называется «гладить дорогу». Это выражение не имеет связи с поливанием дороги и может быть объяснено иначе. У всех славян распространено сближение пути со смертью. Так, в сербском причитанье говорят, обращаясь к мертвому главе семейства: «*Ће (где, куда) си, бане, упутио*» [50, с. 93; 51, с. 103]. «*Путуј ти, оче игумане, а не брини се за манастир*», говорил один монах игумену, когда тот, умирая, высказывал заботу о том, что будет без него с монастырем. В русском причитанье ждут покойного «с пути с дороженьки» [101, с. 164]. Отсюда областное *удорожить*, бояями довести до тяжелой болезни, убить. Но мертвому тяжело на том свете, если на этом долго за ним убиваются: каждая слеза, канувшая на мертвого, жжет его огнем (слеза *горюча*). По сербскому поверью, кукушка — это сестра, превращенная в птицу за долгую печаль по брате, который от печали этой страдал. По сербской пословице, «жали ме жива, а немој мртва», потому что «тешко оном, кога жале» (ср. [66, т. 2, с. 43; 148, т. 2, с. 120]). В лужицкой песне девица за неутешный плач по смерти милого обращена в дерево [151, т. 1, с. 90]. Отсюда у чехов и поляков примета, что сострадание присутствующих при битье скотины и птицы длит ее предсмертные мучения. Связь между умершими и отправившимися в путь, с одной стороны, и живыми, оставшимися дома, — с другой, не прерывается, и чувства последних отзываются в тех. Отсюда «гладить дорогу» может значить веселить себя и тем облегчать разлуку тому, кто уехал. Шуточное в настоящее время приглашение пить: «*Пийте, щоб дома не журились*», — может быть основано на веровании в сродство душ. Если вышесказанное верно, то оно доказывает, что значение словац. *truzniti sia*, веселиться, могло образоваться и от значения надгробного пира, потому что он не был печален.

ОГОНЬ. Гнев есть огонь; и от него сердце разгорается «*пуще огня*» или, что на то же выходит, «без огня»: «Как

чужие-то отец с матерью Безжалостивы уродилися: Без огня у них сердце разгорается, Без смолы у них гнев раскипается» [104, т.1, кн. 3, 112]. Серб. *огњевит* может равняться нашему *вспылчив*: «У тебе кажу мајку пресрдиту, браћу огњевиту» ([50, т. 1, с. 411]. Ср. серб. *чемерикаст*, злой). Вообще в словах для гнева и сродных с ним понятий господствует представление огня. *Едкий*, бранчивый; архангел., новгород., твер. *едуга* = твер. *ядуга*, вят., перм. *изъедуга*, тот, кто всем противоречит, неуступчивый, сварливый, охотник спорить, браниться, задорный человек, могли получить свое значение и без посредства огня, как *зубастый*, др.-рус. *зубоѡжа*, ссора, архангел, *ззуба*, неуступчивый, бранчливый («зуб за зуб» и серб. выражение «он има зуб на њега»), серб. *зубати се* = сибир. *зубатить*, ссориться, браниться, серб. *гложити* = новгород., олонец. *гложать-ся*, ссориться, браниться. Несомненно следующее: стар. чеш. *skravada*, ссора, вражда, одного образования с чеш. *skravad*, сковорода, а это, несомненно, от *скврѣти*, *скварѣ*, жар; чеш. *bašteřiti se*, ссориться, имеет при себе *baštra*, с треском горящая лучина; чеш. *zřiti*, близкое по форме к *журить*, значит свирепеть и так относится к *жрѣти*, как *рудый* к *рѣдѣти*; *ярость* относится к огню, потому что родственные ему слова имеют значение света и ярких цветов. Слово *гнев* может быть сближено с ст.-сл. *гнѣ-ти-ти*, пол. *nieścić*, чеш. *nítiti*, зажигать, откуда *загнетка* и *загнивка*, место в печи, куда сгребаются уголья, и со словами *гнить*, *гной*⁴. Хорутанское *jeza*, гнев, *ježiti se*, сердиться, ярослав. *яжжитъ*, вздорить (относительно последнего ср. зг = жж = жж в *визг*, *визжать* и одно *ж* в тамбов. *южать*), и ст.-сл. *язз*, болезнь, рус. *язва*, болезнь и рана, — одного происхождения. Их корень выражает огонь, потому что понятия раны и болезни тоже с ним связываются, как видно, между прочим, из серб. «загасить раны», то есть залечить: «Набра вила по Мирочу биља и загаси ране на јунаку» [50, т. 2, с. 218], и рус. *потухать* о болезнях: «Как вечерняя и утренняя заря станет *потухать*, так бы у моего друга милого всем бы недугам *потухать*» [104, т. 1, кн. 2, с. 18]; «Матушка заря вечерняя Дарья, утренняя Марья, полуночная Макарида! Как вы *тихо потухаете* — поболека-

⁴ Гниение тоже представляется огнем: *тлеть* значит гнить и гореть медленно, без пламени; от *трути*, которое родится с огнем через понятие жрать — новгород. *травиться*, портиться: «мясо стравилось» — испортилось; пол. *mierzwa*, навоз, близко к *мраз*, *мерзкий*, а мороз — огонь (см. ниже).

ете, денные и ночные, так бы и болезни и скорби в рабе Божиим NN потухли и поблекли денные, ночные и полуночные» [90, с. 5]. *Злой*, дурной в нравственном отношении и гневливый, как и хорут. *zali, gorji*, красивый, — к корню *гореть* (ср. обл. влр. *злой*, старательный, переимчивый (калуж.), способный, ловкий (псков.), остроумный (воронеж.)). Символы злости: змея, оса, крапива — *жалят*, то есть жгут. Об отношении змеи к огню свидетельствуют многие поверья и выражения, как то, что змея «по траве ползет — мураву *сушит*». Крапива *жигуча, жижка*. В Белоруссии, когда новобрачная сядет между мужем и старшей большанкою, поется: «Цяпер я села миж шипшиничку (шиповник), Миж крапивки: Жижка-крапивка пажигаць будзець, Сухи шипшинник сущиць будзя» [129, с. 16]. В влр. песне невеста рассказывает свой сон: «Под горою высокою Леса растут темные И шипица колючая, Да и крапива-то жгучая, Да и осока резучая... Шипица колючая — Богоданны милы братцы, Крапива-то жгучая — Богоданные сестрицы» и проч. [118, т. 2, с. 246—247]. «Богоданные» — родственники с мужней стороны, которые невесте представляются всегда в темных красках (по песням). Крапива сближается с шиповником и терновником (как в серб. «трње боде, а коприве жаре»), потому что слова *колоть* и *жалить* сходятся в основном представлении огня: серб. *печнути* — *печити*, колоть, однородно с *печь* и применяется к ужалению змеи: «печнула (печила) га гуја». Крапива, ст.-сл. *копривикъ*, серб. *коприва*, чеш. *kopřiva*, пол. *pokrzywa* может быть сравнена с *у-кроп*, кипятков. Чуть ли русская форма этого слова не первоначальная, а остальные не перестановленные. Во всяком случае, мы должны искать огня в названии крапивы, кроме сказанного выше, еще потому, что кучи крапивы могут заменять купальские костры .

Заговоры, выветрившиеся языческие молитвы , сопровождаются иногда (а прежде, вероятно, всегда) обрядами, согласными с их содержанием, то есть символически изображающими действие призываемой силы. Из вышесказанного следует, что заговоры, коими насылаются или удаляются от известного лица любовь, печаль, болезнь, должны, между прочим, упоминать об огне и сопровождаться изображающими его обрядами. Действительно, в заговорах на любовь, или *присушках*, коих самое название указывает на отношение к огню, всегда почти призывается палящая сила. То же видно из дошедших до нас известий об обрядах. Марина Игнатьевна, приворажи-

вая Добрыню, разжигает взятые из-под ног его следы в печи и приговаривает: «Сколь жарко дрова разгораются Со темя следы молодецкими, Разгорелось бы сердце молодецкое Как у молода Добрыни Никитича» [42, с. 49]. Подобные чары бывают на все оставленное человеком или тайно взятое у него, например, на рубашку, на волосы. Можно также силою слова назвать известный предмет именем человека, так что на последнего будут действовать те чары, которые непосредственно обращены на предмет: Стоян, привораживая к себе сестру Иванову, «книгу пише, у ватру је баца: «Не гор', книго, не гори јази-јо, Веће памет сестре Иванове» [50, т. 1, с. 469]. В млр. песне девица, узнавши об измене милого, накопила кореньев и стала чаровать: «Stała koriń warty, Wziaw sia myłyj *żyryty* (то есть тосковать за нею); Iszcze koriń ne wykpiw, A *wże myłuj pryłetiw*» [192, т. 2, с. 37—38; 50, т. 1, с. 350]. Не знаю, произносят ли где в славянских землях заговоры над восковою фигуркой человека, но известно, что кукла заменяется свечою. В Великороссии тот, кто хочет сохранить любовь женщины, находит змею, рогулькою придавливая к земле ее голову и продевает иглу с ниткою сквозь глаза, говоря при этом: «Змея, змея! как тебе *жалко* своих глаз, так бы NN любила меня и *жалела*» (ср. тавтологическое *миловать-жаловать*); потом из сала этой змеи делает свечку и зажигает ее, как скоро заметит охлаждение в любви [104, т. 1, кн. 2, с. 40]. То же средство служит и для того, чтобы наслать на врага несчастье и смерть: между русским населением Подляся ведется обычай ставить свечу Матери Божьей, чтобы враг истаял, как эта свеча [181]. Заимствования здесь нет, потому что все эти и другие подобные обычаи могут быть объяснены из языка.

МОРОЗ. Мороз — явление, противоположное жару, — сближается, однако, в языке с огнем: на морозе «ко-рець до рук прикипае», «до морозку ніжки прикипают» [78, с. 237]; мороз «палит» [192, т. 2, с. 26], а потому в влр. песнях он *палаетой*. При ст.-сл. *пращити*, frigere, — пол. *prążyć*, млр. *пращити*, срб. *пращити*, жарить, сушить. Оттого мороз, подобно огню, — символ любви: влр. *засноба*, любовь, любовница, *заснобчивый*, влюбчивый. Впрочем, в млр. *заснобка* — обида, оскорбление (может быть, печаль?): (сын-овья) «Не велику заснобку счинили — Матку стареньку з двора вигонили» [66, т. 1, с. 20], а равно в срб. *омфраза*, *омфразити*, *омфрзнути*, ненависть, сделать и стать ненавист-

ным (ср. *мерзок*), в рус. *отстуда* и *остуда*, нелюбовь, ненависть, и в *постылый* скорее можно предположить противопоставление мороза — холода огню и теплоте. В этом убеждает то, что ненавистный для молодой свекор — «мороз лютый» противопоставляется *теплому* снегу — отцу: «Лебедь наша белая, Лебедушка молоденькая! Боишься ли ты мороза? Я мороза боюся, Я за белый снег схоронюся. Ты Машенька душа... Боишься ли ты свекора? Я свекора-то боюся, Я за батюшку схоронюся» ([104, т.1, кн. 3, с. 150]. Ср. [101, с. 149; 104, т.1, кн. 3, с. 214]). Вообще холодный — нелюбящий: «Ziŕeńko zwiane, a szcze kraszcze bude: Matinka umre, a szcze druhoi ne bude. Chot' wona bude ta wże *studeneńka*, Ne prystane wona do moho serdeńka» [192, т. 2, с. 144]. Ср. выше: снег не тает. Мысль о противоположности холода и тепла, нелюбви и любви выражена в названии растения *мать и мачеха*. Верхняя, обращенная к свету сторона кругловатого листка этого растения — гладка, зелена и *холодна*; это постылая мачеха; исподняя сторона листка — бела (откуда млр. *pidbíl*), мягка, будто покрыта густой паутиной, и *тепла*: это родная и *милая* мать. Вероятно, как противоположность огня — веселья, мороз и холод — печаль, забота: «Ах, кабы на цветы да не морозы, И зимой бы цветы расцветали; Ах, кабы на меня да не *кручина*, Ни о чем бы я не тужила» [104, т. 1, кн. 3, с. 212]. То же значение имеют иней и снег как признаки зимы. В Витебской губ., когда повязывают голову молодой на другой день после свадьбы, поют: «В нязделю мароз был, В панядзелок *иний пал*... На Кацюшину головку» и вслед за тем символ печали: «*Растапися*, баинка, *Разгарися*, каменка; *Растужись*, Кацюша, Па сваей старонки, И па роднай мамки, И па сваёй касы русай» [3, с. 186]. «Okolo Buchlova Velika *inovat'* (иней); *Staral se* (заботился) *syneček, kde bude nosovat?*» [213, с. 462]; «Снијег паде о Ђурђеву дану (следовательно, когда тепло), Не може га тица прелетјети, Дјевојка га боса прегазила; За њом братац папучице носи: «Је л' ти, сејо, по ногама зима?» Није мени по ногама зима, Већ је мени по мом срцу зима; Ал ми није на снијега *зима*, Већ је мени с моје *мајке* зима, Која ме је за недрага дала» [50, т. 1, с. 220]. Следовательно, *зима* (холод, как в ст.-сл.) — горе, а жестокая мать — снег, как выше свекор — мороз. Снег — холод, потому что он выпал весною. И так повсюду, противоположение теплу — любви, веселью.

Зная, что слово *зима* предполагает другую, древнейшую форму *хима*, мы не затруднимся отнести к одному

корню с *зима* сибир. *химостить*, ворожить, кудесить, собственно портить чарами при помощи враждебных теплу и свету сил (*зима* — морана). Другое подобное слово находим в млр. *химородить*, *химородою химородить*, вообще колдовать, *химородник*, знахарь, колдун. Вторая половина млр. слова объясняется чеш. *roditi*, срб. *radити*, пол. *radzić* (*temi nie poradzę* — не пособлю), делать. Соображаясь с приведенными значениями холода, можем предполагать в слове *химородить* значения: уничтожать любовь, изводить печаль, может быть, болезнь, смерть.

СВЕТ. Нет ничего обыкновеннее в народных песнях, как сравнение людей и известных душевных состояний с солнцем, месяцем, звездой: но взгляд на светила как на антропоморфические божества затемнился так давно, что ни одно из них не служит символом одного пола. Солнце по форме *солонь* и по остаткам верования, что оно жена месяца («Koby mi milý muoj Dneska večer prišol, jakoby se mesiac So slniečkom zýšol» [193, с. 55], должно бы служить символом женщины; но как Владимир в влр. былинах — красно солнышко, так царь вообще в песнях сербских — «огрејано сунце». Зоря (звезда) — девица, а между тем она часто бывает символом мужчины: «Що зірочка по хмарочці як бродить, дак бродить; Що Василько до Галочки як ходить, дак ходить» [78, с. 303]; «Світеться, світеться зірочка в небі; Дивиться, дивиться козак у двері» [78, с. 467]. Наоборот, месяц — мужчина, князь: в пол. месяц — *księżyc*, то есть княжич; в млр. заговоре он назван Володимером, все равно в буквальном ли значении слова или по отношению к князю: «Місяцю Володимере! ти в небі, дуб у полі, камінь у морі» [72, кн. 3]; между тем месяц нередко бывает символом женщины. Особенно ярко выступает такое смешение пола светил в песнях, где одно и то же лицо сравнивается в одно время с солнцем и месяцем или с месяцем и звездой: «Хороша пані... По двору ходить, як місяц сходить, по синьцях ходить, як зоря сходить» ([78, с. 333], ср. [50, т. 1, с. 56]).

Гораздо лучше сохранилось значение света вообще и света светил: красота, любовь, веселье. Слово *хорошъ* не без основания считают притяжательным от *хръсъ*, солнце. Красный, красивый тоже сродны с солнечным светом в слове *крес*, солонovorот, *кресник*, купало, солнечный праздник, в ярослав. *красить*, светить: «Погляди-тко ты в востошную сторонушку, Не *красит* ли краснојо солнышкѣ» [101], и с земным огнем в слове *кресать*, рубить огонь. «Красное солнце» — прежде всего светлое, по-

том — прекрасное. Сближение красоты с кресаньем подтверждается сравнением ее с искрою: млр. «гарный як искра», чеш.-морав. «mám frajerenku jako jiskra»; «Voděnka studena, voda bystrá, Mojá frajerenka jako jiskra»; «Ta vodinka bystra... Vzala mně milého jako jiskra» [213, с. 244]. Понятия греть — гореть и светить в основании тождественны: срб. *grijати*, млр. *grijать* [78, с. 240—241] соединяют в себе значения светить и греть — гореть; то же можем предполагать не только в млр. *гарный*, красивый, но и в хорутан. *zali, gorši*, красивый. Согласно с этим светила в слав. песнях служат символом красоты. Постоянный эпитет *зори* (*ясная*) соответствует постоянному эпитету девицы (*красная*), и действие красоты на других изображается светом: (Оришечка) «Убіралася то ж и наряджалася, До церкви пішла, як зоря зійшла, У церков вйшла, тай засіяла» [78, с. 331]. В одной галицкой песенке мысль о происхождении красоты от звезды выражена так: оттого сегодня девица хороша, что около нее вчера упала и рассыпалась звезда, а она подобрала осколки и, как цветами, убрала ими волосы: «A wże ż ja sia ne dywuju, czomu Marcia krasna: Koło neji wczora rano wpała zora jasna; Jak letiła zora z neba, taj rozsypała sia, Marcia zoru pozbyrała i zatykała sia» [192, т. 2, с. 171]. Как изображение красоты можно принимать и следующее не объясненное в сербской песне выражение: «Анђа... Сунцем главу повезала, Месецом се опасала, А звездами накитила» [50, т. 1, с. 342], хотя подобные выражения имеют обыкновенно смысл защиты, предохранения от действия враждебных темных сил. В Южной Сибири дружка, обходя свадебный поезд с зажженной свечой, для предохранения его от недобрых знахарей и волхитов, наговаривает про себя, между прочим, следующее: «Оболокись я оболочками, подпояшусь красною зарею, огорожусь светлым месяцем, обтычусь частыми звездами и освечусь я красным солнышком» ([37, с. 42]. Ср. [104, т. 1, кн. 2, с. 20, 27]). В Малороссии, когда мать жениха выводит его из избы с тем, чтобы он ехал к невесте, поют: «Мати Юрася родила, Місяцем обгородила, Сонечком підперезала, До милої виражала» [78, с. 180]⁵.

⁵ Свет сближается в языке со звуком: пол. *luna*, зарево, а в млр. *луна* получает значение отзвука, эха; рус. *брезжит* (свет), пол. *brzask*, мерцание звезды, свет восходящего солнца, чеш. *břesk*, сумерки, *zabřezdeni, zabeřezditi se*, рассвет, светать, имеют при себе чеш. *břeckný, břeskot*, о громком звуке, например, звуке барабана (*udeřili zvuky bubnův břeskných*); срб. *jasan* — эпитет голоса, звука литавр (*јасни таламбаси*), в болг., между прочим, — ржание коня. В словацкой песне звук свирели изображается блеском поля:

Лицо человеческое представляется светлым, то есть прекрасным, как солнце: «Сину лице (из-под покрывала), као жарко (то есть яркое) сунце»; «От лица ево молодецкова, Как бы от солнушка от краснова, Лучи стоят, лучи великие» [42, с. 191]. Такой взгляд выражен в языке словами *рода* — *руда*, вид, образ, от *рѣдѣти*, краснеть (становиться светлым), откуда и *рудой*, *рыжий*; то же в словах, быть может, родственных с *рѣд* (*г—д*): *рожа*, лицо и (олонец.) лишаи (ср. новгород. *марежи*, лишаи, и вообще связь кожной болезни и огня), олонец. *ружь*, лицо и масть в картах (понятия света). Впрочем, *рожа* и проч. относится, вероятно, к румянцу лица и только посредством него — к свету и солнцу:

Вторая ступень в развитии понятия света — переход от красоты к любви: светлый, ясный, красный как эпитеты светил соответствуют эпитетам лиц: милый, ласковый, иногда отсутствующим, но подразумеваемым: «Ты гори, моя свеча, Против солнечна луча! Уж не быть тебе, свеча, Против солнечна луча! Уж не быть тебе, свекру, Против батюшки родного» [104, т. 1, кн. 2, с. 154]. Яснее место млр. песни: «Postawlu ja swiczeńku Naprotiw misiaceńka: Sy budu ja tak *jasnaja*, Jak misiaceńko *jasnyj*? Postawlu ja swiekrońka Naprotyw bateńka: Czy bude tak miłyj, Jak bateńko ridnyj» [192, т. 1, с. 72]. Если третий стих примем за испорченный и прочтем: «*sy bude (swiczeńka) tak jasnaja*», то увидим, что свет месяца, как выше свет солнца, — любовь. При переходах от светила к человеку символы выпускаются, и *светлый* как эпитет человека получает значение *милый*: «И вы, гости наши, посидите у нас, И вы, *светлы* наши, побеседуйте у нас» [104, т. 1, кн. 3, с. 137]; «*Свет* вы мои, сени новые... *Свет* ты моя, чара золотая... *Свет* ты мой, соловей во саду» [Там же, с. 142—143]. Владимир слышет *ласковым* и *красным* солнышком: оба названия равносильны, потому что солнце в заговоре Ярославны названо светлым и пресветлым в смысле ласкового, благо-

«Ja som se nazdala, že se pole blíska: Ono to muoj milý Na pištale piska» [193, с. 37]. Звук гаснет, как свет: «Нек *угае* свирке и попјевке». Так как цвет и по народным представлениям — от света, то звук может обозначаться словом, присвоенным цветущему; обыкновенный эпитет колокольчика — *малина*, то есть громкий и звучный, как красна малина. На этом основании можно находить соответствие между названиями красоты от света и чеш. *šitný*, пол. *szutny*, красивый, хороший, например, *szutna dziewczyna*, наречие *szutno* — напряженность действия вообще: «Owo ja Mazm *szutno* bogaty» [219, т. 2, с. 306], то есть очень.